

Россия на перекрестке культур

Первым человеком, заболевшим «беспочвенностью» России, её положением на перекрестке великих культурных миров, был Петр Яковлевич Чаадаев:

«Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого... Стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были бы соединить в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок — и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. Но не такова роль, отведенная нам Провидением... Одиноким в мире, мы ничего не дали миру... ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили...»¹

Национальный нигилизм (за который Чаадаев был объявлен сумасшедшим) чередовался с порывами необузданной веры в Россию: «Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас являемся ее политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу...»². Кажется, что одно утверждение опровергает другое, что вместе они абсурдно несовместимы. На самом деле одно дополняет другое. Чаадаев интуитивно сознавал обе перспективы, вытекающие из положения России на перекрестке культур: угрозу исторического провала, духовного бесплодия — и возможность великого синтеза.

Бросается в глаза, что Россия, Запад, Восток берутся в его рассуждениях несколько абстрактно, особенно Восток. Впоследствии Чаадаев стал различать Восток монотеистический (ветхозаветный мир и мир ислама) и немонотеистический (Индия, Китай). Дальше его мысль не могла пойти из-за недостатка знаний. Но основная идея Чаадаева верна: Россия не только не

Запад — она и не Восток (если под Востоком понимать Индию, Китай, Иран). Она не входит, устойчиво и прочно, ни в один большой культурный мир, а расположена (и географически, и по своей религии, укорененной в погибшей Византии) между мирами. А потому либо из нее ничего не вышло (тезис первого философического письма), либо выйдет очень много (письмо Тургеневу). Полное ничтожество или великая слава, но никогда не золотая середина.

Этот вопрос унаследовал Достоевский, и для него он стал вопросом не только о России в целом, но о каждом мыслящем русском человеке. Говорить об этом надо или очень много, или ничего. Поэтому просто отошлем читателя к размышлениям учителя в «Игроке», к сомнениям Аркадия Долгорукого, Мити Карамазова и, наконец, к монологам Версилова (одним из прототипов которого был П.Я. Чаадаев). Каждый такой характер — вопрос, настолько же перекрывающий ответы в «Дневнике писателя», насколько кощунства Иова перекрывают речи его друзей.

Достоевскому казалось, что беспочвенность — черта одного верхнего образованного слоя России, что народ и его православие — это незыблемая почва, и если прильнуть к ней, то все будет хорошо. А потом сам себе возражал в черновиках к «Бесам»: «Сила в нравственной идее. Нравственная идея в Христе³. На Западе Христос искажился и истощился. Царство Антихриста. У нас православие. Значит, мы носители ясного понимания Христа и новой идеи для воскресения мира... Если бы пошатнулась в народе вера в православие, то он тотчас же бы начал разлагаться... Теперь вопрос: кто же может веровать? И даже вопрос: возможно ли веровать? А если нельзя, то чего же кричать о силе православия русского народа? Это, стало быть, только вопрос времени. Там раньше началось разложение, атеизм; у нас позже, но начнется непременно с водворением атеизма... А если православие невозможно для просвещенного (а через сто лет половина России просветится), то, стало быть, все это фокус-покус и сила России временная...»

Слабость славянофильских позиций — у Достоевского, у Тютчева, у их предшественников и последователей — в том, что Россия скорее постулировалась, чем познавалась; подчеркивалось тождество: Россия — православие. Но византийское влияние — не единственное, определившее русский народный характер. Самоназвание «крестьяне» (христиане) решительно ничего не доказывает. Что христианского в Ерощке, Лукашке («Казачи» Л.Н. Толстого)? Что исконно русского в их черкесках и папахах? Славянофилы были такими же носителями запад-

ной образованности, как и западники, и прилагали к России схемы мысли, выработанные на Западе. Одни исходили из универсализма просвещения и доказывали, что Россия должна европеизироваться, другие — из немецкой романтической критики французских революционных идей и отстаивали национальное своеобразие; но в чем оно? Чем православная Россия отличается от православной Греции, Грузии, Румынии, Сербии? Не находя ответа, Тютчев пытается конструировать Россию из нее самой, из ее чистой сути, взятой прямо с неба:

*Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить...*

Да, европейским аршином Россию не измеришь. Но, может быть, есть другие аршины? Неевропейские? Иначе говоря: может быть, есть аналогии русскому развитию — если не в Европе, то в Азии? Все в чем они очевидны. Когда началась вестернизация Азии и Африки, повсюду появились беспочвенные интеллигенты, раскол на вестернизаторов (западников) и традиционалистов (почвенников); нашлись сходные черты в противостоянии Западу у Хомякова, Окакуро Какудзо, Ку Хунмина, Ауробиндо Гхоша, ал-Афгани, Сенгора⁴. Россия — первая, но не единственная вестернизированная страна (подчеркнем еще раз: не европейская — в этом славянофилы правы, — но европеизированная; а европеизация, вестернизация это уже «аршин»). В XVIII-XIX вв. аршина еще не было, но сейчас он есть. Возникают аналогии с Японией, Индией, Китаем⁵.

Следующая задача, которую я себе поставил, — найти еще одну группу, к которой можно отнести Россию, в более глубоких пластах истории до вестернизации, до Петра. Это, как мне постепенно стало ясно, группа «стыковых», «перекресточных» культур. Вестернизация поставила все незападные культуры на перекресток — между своей и западной традицией. Но некоторые культуры были перекресточными и до вестернизации. Правда, общее у них слабо выражено, и больше бросается в глаза уникальность каждого случая. Но чтобы понять проблемы перекрестка культур, надо прежде всего разобраться в теории культурных коалиций⁶

После всего сказанного о проблемах перекрестных культур достаточно беглого взгляда на карту, чтобы убедиться в неотложности диалога культур для нашей страны. Российская империя складывалась на стыке субэкумен и захватила в результате ряда успешных войн окраины западного мира, бывшую

периферию византийского субэкуменального узла (в Закавказье) и (последнее по счету, но не по важности) значительную часть мира ислама. После победы революции империя была преобразована в Союз Советских Социалистических Республик, состоявший из трех федераций (Российской, Закавказской, Среднеазиатской) и двух союзных республик (Украинской и Белорусской). Федеративное устройство должно было исключить возможность господства одной нации над другой, а с пережитками имперской спеси велась непреклонная борьба (со всеми перегибами, свойственными нашим политическим кампаниям). Что касается религиозной розни, то казалось, что это непременно отпадет по мере развития социалистических отношений.

Трудно сказать, как шло бы дело при сохранении ленинского интернационализма. Но с начала 30-х годов главной опасностью был объявлен местный национализм. Жесткая централизация сталинской системы свела федерализм к минимуму; каждый шаг диктовался из Москвы, и сталинский гнет стал восприниматься как продолжение старого имперского гнета. Слово «интернационализм» в этих условиях потеряло свое обаяние, стало декоративным, а не конструктивным принципом. И на сегодняшний день призывы к интернационализму мало убеждают. Чтобы вернуть им силу, нужна глубокая десталинизация.

Тысячелетие русского православия напомнило нам о другой проблеме: восточнославянские республики — наследницы византийского субэкуменального узла, исторического соперника ислама. Воспоминание об этом можно увидеть и на маковках старых московских церквей (полумесяц, поверженный к подожию креста), и в «Дневнике писателя» Достоевского, и в лозунге первой мировой войны: «Водрузить крест над святой Софией». Что связывает с этой традицией народы полумесяца? Что может их объединить с Россией в новый субэкуменальный узел? Возможен ли он вообще? Какой должна стать русская культура, чтобы оправдать свое присутствие в свободной демократической Евразии?

Хочется напомнить, что прочное единство субэкумен создается только культурой. Китайцы считают основателем своей империи Вэнь-вана (царя культуры), и хотя это скорее всего легенда, но в ней заключен великий смысл.

Какова же судьба русской культуры? Каковы ее возможности? Россия приняла христианство в его греческой форме. Тогда (тысячу лет тому назад) православие имело некоторые основания гордиться перед Западом. С этих пор православие —

стержень русской культуры. Все величайшие взлеты ее — это русские истолкования, русские воплощения общих идей, общего духа христианства, канонического православия (иконы XIV-XV вв.) или неканонического — в неповторимых характерах князя Мышкина, Сони, Хромоножки, Смешного человека, в персонажах Толстого, Лескова.

Однако времена расцвета, когда русская культура создавала свои чудеса, чередовались с периодами застоя. Расцвету всегда сопутствовала открытость к чужому, трудный, иногда прямо мучительный процесс усвоения чужого, превращения чужого в свое: в XIV-XV вв. — второе южнославянское (и византийское) влияние; в XIX веке — «борьба с Западом», но борьба на его собственной почве, в европейских литературных и философских формах, борьба за создание национально-русской европейской культуры.

Что касается периодов духовного упадка, то первый из них связан с ростом государственной мощи в конце XV века. Византия пала, а Московия сбросила татарское иго. И возникла тщеславная мечта — стать Третьим Римом, цитаделью истинной веры, центром новой субэкумены, даже всей экумены: четвертому Риму не бывать. Опыт Московии показывает, что одной религии (даже предполагая ее единственно истинной) для такого предприятия недостаточно. Нужен целый комплекс культуры, которого не было. Византийское богословие не переводилось с греческого до XVIII века (не говоря о древней философии, вывезенной беглецами-греками во Флоренцию — но не в Москву). Великая традиция, к которой примыкали Сергей Радонежский и Нил Сорский, потерялась в спорах с нестяжателями и почти неизвестна иерархам XVI века⁷. Решение Стоглавого собора писать в нимбе с перекрестьем среднего ангела Троицы — богословская нелепость: она ставит Сына выше Отца (что даже католикам, преданным анафеме, не снилось). Русские полемисты не понимали, в чем суть спора церквей, и негодовали на пустяки, не имевшие никакого значения: например, что имя Иова звучит по-латыни Йоб. Московии, замкнувшейся в своей имперской спеси, не хватало культурных ресурсов даже для национальной жизни. Возникает жадное внимание к Западу, и Петр, сын своего времени, «прорубил окно в Европу» (с той жестокостью, которая стала традицией русских революций сверху).

Второй период запустения — недавнее время. На этот раз были перерублены связи не только с Европой (оставшейся буржуазной, когда мы шагнули в социализм), но и с собственным буржуазным и феодальным прошлым. (Потом мы любовались

этой картиной вчуже, наблюдая великую пролетарскую культурную революцию в КНР.) После периода бури и натиска (1918-1933) делались попытки возродить и продолжить национальные традиции, вплоть до нелепых гипербол национальной гордости, превращавших Россию в родину слонов. Однако культура без религиозных и философских глубин — и без живых контактов с «гнилым» и «впавшим в маразм» Западом — не клеилась.

Можно спорить, в какой мере прыжок в утопию военного коммунизма (а потом в утопию сталинизма) был подготовлен прошлым. Во всяком случае, крутые рывки в русской истории не случайны, и Сталин не зря вдохновлялся примером опричнины. Какая другая страна знала подобные рывки? Представьте себе русских боярынь и боярышень, которых из подражания нравам ислама заперли в терема (да так и позабыли там на 200 лет), вдруг разодетыми по европейской моде (они чувствовали себя голыми в своих декольте), танцующими менуэт с побритыми и нацепившими парики кавалерами. В Иране подобный поворот вызвал контрреформу Хомейни; а Россия вытерпела, и через сто лет после Петра был Пушкин. Но еще через сто лет весь вестернизованный верхний слой был сметен.

Сперва только две неевропейские страны, захваченные процессом вестернизации, не попали в порочный круг слаборазвитости, в постоянную мучительную нестыковку западной науки и техники с местными нравами. Эти две страны — Россия и Япония. (Впоследствии в круг передовых вошли и другие культуры Дальнего Востока.) Процесс модернизации и вестернизации России и Японии чрезвычайно интересно сравнить.

Хаос феодальных междоусобиц в Японии (XIII-XVI вв.) несколько напоминает удельный период на Руси; а самодержавие Токугава (XVII-XIX вв.), утвердившее строго централизованное государство, — параллель Московского царства. Замкнутость Токугава достаточно похожа на московский православный messiанизм и страх перед латинской ересью. В обоих случаях изоляция, сплывающая страну, в то же время ведет к отставанию и угрозе потери независимости. В обоих случаях самодержавие, утвердив единство, решительно открывает страну западным контактам и перестраивается на западный лад.

Пример Японии показывает, что периоды изоляционизма не были совершенно бесплодными. Русский период закрытости был менее плодотворен, но, во всяком случае, он утвердил общерусский патриотизм (проверенный в испытаниях смуты). Страна, начавшая складываться на периферии западного мира с варягами, с X в. вошедшая в византийский узел, с XIII в. вов-

леченная в мир ислама (примерно как другие обломки византийского мира, от Эфиопии до Румынии), — эта страна могла потерять всякую ориентацию, и идея православного Третьего Рима до какой-то степени помогла русской культуре найти тождество с самой собой⁸.

Следует, впрочем, заметить, что «перекресточность» — только один из аспектов русского бытия, не исключаяющий других. Можно рассматривать Россию и так и иначе: как славянскую страну, страну православную — или как страну евразийскую. Евразийская точка зрения, как шутка, была высказана еще лет 200 тому назад: «Поскребите русского — и вы найдете татарины». В поэтической форме это повторил Блок:

*Да, скифы — мы. Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!*

Наконец, в 20-е годы эта идея приобрела характер теории. Ничего ложного в подобных точках зрения нет, если не придавать им характера главной и даже единственной. Россия не сводится ни к славянству, ни к православию, ни к евразийству, ни к вестернизированной стране, ни к культуре на перекрестке миров. Так же как любой из нас не сводится к полу, возрасту, национальности. Важно и многое другое, чего в паспорте нет: наследственность, судьба... И если продолжить сравнение России и Японии, то судьбы у них разные. История Японии — биография, развивавшаяся по своей внутренней логике. Известные внешние толчки только развязывали внутренние силы, уже готовые к экспансии и ждавшие своего часа. В России роль внешних толчков гораздо больше и сами толчки несравненно болезненнее (по крайней мере до Хиросимы). История России, с ее открытыми границами на западе и на востоке, — скорее судьба, чем биография. Судьба, ломавшая едва сложившиеся культурные связи и круто заменявшая их другими на новые двести лет. В решающие века своего формирования Россия остается без главной своей наставницы, Византии, и колеблется от гордыни Третьего Рима до готовности усвоить любой чужеземный обычай. Выгоды положения на перекрестке часто парализуются отдаленностью от центров субэкумен. Веками шло общение не столько с Византией, сколько с Балканами; не с Багдадом, а с Сараем; не с Европой, а с Немецкой слободой. Взлеты русской культуры связаны с эпохами, когда провинциализм контактов, созданный историей, история же взламывала и устанавливали прямые связи с центрами субэкумены. За какие-

нибудь сто лет, от юности Пушкина до смерти Блока, был сделан такой огромный шаг, что Тойнби (как мы уже говорили) готов был признать Россию самостоятельной «цивилизацией»

Затем последовали 70 лет, итоги которых мы сейчас подводим. Один из этих итогов — понимание границ идеологии. В течение всего советского периода идеология пыталась вытеснить религию или по крайней мере свести ее на уровень терпимого народного предрассудка. Однако с конца сороковых годов идет медленный, но неуклонный процесс возвращения к религии. Религия и идеология оказались разными вещами, никак не заменяющими друг друга. Называть религию «религиозной идеологией» — значит ничего не понимать⁹. Идеология — ориентация в процессе стремительных социально-исторических перемен. Она возникла лет 200 тому назад, когда нарастала Французская революция, и почти сразу же, при Наполеоне, получила свое нынешнее имя. А религия — ориентация в вечности. Эту ориентацию отдельному человеку можно выработать самостоятельно, но культуре нужны вехи вероисповеданий. Они очень устойчивы и сохраняют значение не только для верующих. Андрей Битов в очерке о Хиве написал замечательную фразу: «И тут я понял, что я православный; хотя бы в том смысле, что я не мусульманин». Можно представить себе структурно аналогичную фразу, возникшую, допустим, у Олжаса Сулейменова¹⁰. Она звучала бы примерно так: «И тут я понял, что я мусульманин...»

Народы Советского Союза связаны общей идеологией, но у них нет общего религиозного прошлого и общего религиозного настоящего. В ходе перестройки выявляются различия культур, от которых отвлекала застывшая формула «национальное по форме, социалистическое по содержанию». Национальное — не только форма. Национальная (и субэкуменальная) культура обладает своим особым духом. И единого духа культур Евразии нет. Удастся ли его создать — открытый вопрос. Решение его зависит от нашей творческой активности.

История не дает России легкой жизни. Она вынуждена решать мировую проблему диалога субэкумен как проблему внутренней политики. Возвращение из Утопии в реальность ставит одновременно два круга вопросов: национальных и евразийских. Как нация, Россия восстанавливает связи с собственным прошлым и с окружающим миром. Как наследница империи, Россия не может просто отвернуться от конфликтов на юге и (как предлагал Солженицын) уйти (лет на 150) на не разоренный экологическим кризисом северо-восток. Такого решения

история не дает. Надо вместе с другими искать какой-то новый, лучший, действительно федеративный порядок во всей Евразии. Эти два круга вопросов связаны, но каждый из них имеет самостоятельные аспекты.

Последние годы очень много говорится о народной памяти; и очень часто эти разговоры используются, чтобы продолжать сталинскую политику спесивого изоляционизма и подозрительности ко всему чужому. Между тем «тоска по мировой культуре», о которой сказал Мандельштам, так же остра, так же непреложна — и так же плодотворна, — как и тоска по родной культурной традиции. Не русской культуре бояться затерянности в мировом хоре. Пусть отгораживаются те, кто страдает боязнью пространства, — это их личное (и кружковое) дело. Культура России в целом может выполнить свою задачу, только отбросив страх и приняв весь вызов современной широты.

Очень большую роль здесь могли бы сыграть книги русских религиозных мыслителей, наиболее свободных от национальной и конфессиональной ограниченности, наиболее близких к вселенскому духу (приоритет, прямо противоположный тому, которого придерживается «Молодая гвардия»). Я имею в виду Вл. Соловьева, Г.П.Федотова (почти неизвестного даже образованному читателю), мать Марию (деятельность которой в посвященном ей фильме грубо искажена в угоду узко понятому патриотизму), схимонаха Силуана (молившегося «за все народы»), владыку Антония Сурожского (Блюма), Даниила Андреева. Надо печатать (а не только критиковать) и замечательные памятники зарубежной религиозной мысли, западной и восточной.

Полунаучный атеизм, трактовавший религию как отживающий народный предрассудок, очень много сделал для того, чтобы действительно свести религию к уровню предрассудков. Это делалось и на административном уровне (высылка религиозных философов), и на уровне издательской политики. Институт научного атеизма препятствовал всем попыткам заговорить о духовных ценностях религиозных традиций, об их вселенском духе. И в результате у светского гуманизма нет союзника, не на кого опереться, когда вспыхивают этноконфессиональные конфликты. Религиозное смешалось с племенным и стало оправданием рецидивов племенной кровной мести. Это не только грех народных религий. Это грех политики направляемого сверху гниения религии.

Единство свободных народов Евразии невозможно на чисто идеологической основе, без поисков взаимного понимания

между верующими разных исповеданий. Проблема существует десятки лет, она была только заморожена, и сейчас, когда все оттаивает, мы слышим (как барон Мюнхгаузен в Сибири) оттаявшие крики (крик Карабаха был заморожен несколько десятков лет тому назад. Сегодня мы только услышали его). Есть два возможных ответа: или опять все заморозить, или дать народам выкричаться и постепенно перейти от криков к спору без ссоры, к диалогу, к поискам общего духа. Иначе мы надолго останемся в доме с прохудившейся крышей, каждую минуту готовой обрушиться на головы. Накопились десятки национальных обид. Как их смягчить? Во имя чего призывать к терпимости, к бескровному решению споров? Сумели ли мы выйти навстречу национальным обидам, как Мышкин навстречу Настасье Филипповне? Или победит психология толпы — «наших бьют»?

Подлинное оправдание традиции — в сегодняшнем дне, в его стиле поисков, в способности отделить зерна от плевел, в нашей способности возродиться из пепла, опираясь на прошлое, борясь с прошлым, преодолевая и продолжая его. Прошлое надо переварить, усвоить — так же как чужое. Обвинительный приговор прошлому — не в критических оценках, а в нашем духовном и нравственном убожестве. Мы на краю пропасти, мы в тупике. Сумеем ли мы не свалиться с обрыва? Сумеем ли мы превратить тупик в излом пути? Тогда мы вынесли груз прошлого, и оно стало для нас школой добра.

Конец 70-х годов.

Примечания

¹ Чаадаев П.Я. Первое философическое письмо. Сочинения и письма под ред. М.О.Гершензона, т. 2, М., 1914, с.109, 116-117

² Письмо А.И.Тургеневу. Там же, с.201.

³ Это можно пояснить так называемым *credo* Достоевского: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы оставаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа». Так это формулируется в «Бесах».

⁴ Ср. мои статьи: Некоторые особенности литературного процесса на Востоке. — В кн.: Литература и культура Китая. М., 1972, с.292-303; Интеллигенты, интеллектуалы и афро-азиатские традиции. — В кн.: Общество, элита и бюрократия в развивающихся странах Востока. М., 1974, кн.2, с.354-367; К анализу взглядов Ку Хунмина. — В кн.: Китай. Традиции и современность. М., 1976, с.153-167

⁵ На конкретном примере такое сравнение провели Л.Сараскина и С.Серебряный. Ср. их статью: Ф.М.Достоевский и Р.Тагор. Восток Запад. М., 1985, с.129-169.

⁶ См. предыдущую статью.

⁷ Трагические последствия победы Иосифа Волоцкого над Нилом Сорским исследованы Г.П.Федотовым.

⁸ О современной роли этой идеи см. в моем ответе на анкету журнала «Искусство кино», 1986, № 6. Я думаю, что идея империй в XX веке изжита.

⁹ С точки зрения идеологии, атеизм — второстепенный признак: Гоббс, Гольбах, Маркс, Ницше были атеистами; но идеологии у них разные. Итальянский коммунист может быть верующим католиком; но идеология у него коммунистическая, так же как у его товарищей-атеистов. Превращение атеизма в государственную религию — признак деформации идеологии, вырождения идеологии в догматическую квази-религию.

¹⁰ Я избрал его имя, вспомнив очень интересную, хотя и спорную книгу «Аз и Я».